

Ален *Эмиль-Огюст Шартье*



Прекрасное и истина

GALLICINIUM

Gallicinium

(Эмиль Ален

Прекрасное и истина

«Алетейя»

1910–1950

УДК 1(091)+18
ББК 87.3+87.7

Ален (. Ш.

Прекрасное и истина / (. Ш. Ален — «Алетейя», 1910–1950 — (Gallicinium)

ISBN 978-5-906823-34-2

Основу настоящего издания составили две книги Алена (псевдоним Эмиля Шартье – Emile Chartier, 1868–1951), широко известного во Франции мыслителя, писателя и педагога. Первая из них, «Краткий курс для слепых. Портреты и доктрины древних и современных философов», – это собрание кратких (в основном) эссе, посвященных выдающимся философам и философским школам (начиная от античных и завершая О. Контом, чье учение рассматривается гораздо подробнее, чем остальные) и представляющих собой изящные, оригинальные, но не более чем эскизные наброски к портретам крупнейших западноевропейских мыслителей. Преимущественное внимание автор уделяет не фактологии и даже не анализу отдельных концепций, а передаче интеллектуального впечатления, полученного им в результате осмысления последних. Название книги двусмысленно (даже несмотря на то что в своем первом издании она действительно была набрана шрифтом Брайля), поскольку позволяет предположить, что (еще одним) адресатом ее являются читатели, не обладающие достаточно острым «философским зрением» и не сумевшие в представленных в авторском обзоре философских учениях разглядеть некоторые нюансы, которые были подмечены французским интеллектуалом. Вторая книга, «Рассуждения об эстетике», представляет собой сборник исключительно своеобразных, стилистически тонких, насыщенных метафорами и метафорическими образами (нередко с трудом поддающимися истолкованию) эссе-размышлений, принадлежащих к «изобретенному» автором на рубеже XIX–XX веков жанру «*propos*» и написанных на самые различные и отнюдь не всегда в буквальном смысле слова эстетические темы. В книгу также включены статьи, посвященные Алену и его творчеству, а его тексты снабжены подробными комментариями. В формате a4.pdf сохранен издательский макет.

УДК 1(091)+18

ББК 87.3+87.7

ISBN 978-5-906823-34-2

© Ален (. Ш., 1910–1950

© Алетейя, 1910–1950

Содержание

Жизнь и мнения Эмиля-Огюста Шартье, философа	7
Личность в культуре и превратности ее оценки	7
Биография философа, дополненная произвольными размышлениями Ad Marginem	12
Ален – Автор Propos	26
Мыслить и контролировать мысль	26
Конец ознакомительного фрагмента.	28

Ален (Эмиль Шартье)

Прекрасное и истина

© К. З. Акопян, составление, перевод, статьи и комментарии, 2016

© Издательство «Алетейя» (СПб.), 2016

Жизнь и мнения Эмиля-Огюста Шартье, философа

«Человеческий парадокс состоит в том, что уже все сказано – и ничего не понято».

«В старинных книгах важнее для нас оказывается не то, что там сказано, а те акценты, которые мы сами расставляем»¹.

Ален

Личность в культуре и превратности ее оценки

В каждой национальной культуре мы можем легко обнаружить некие, условно говоря, *интравертные формы, процессы, фигуры*. И хотя обращение к ним и знакомство с ними в любом случае открывает новые горизонты, предоставляет возможность проникнуть в доселе неведомый мир и попытаться разгадать его тайны, чаще всего они, эти самые формы, процессы, фигуры, а также многое, что глубинно с ними связано, просто не может быть понято, прочувствовано, адекватно оценено представителями *иных* культур – в силу своей содержательной, смысловой, интеллектуальной труднодоступности (или даже практической недоступности) для последних.

Сказанное может быть отнесено и к какой-либо национальной культуре в целом, и к культуре хронологически конкретной, т. е. ограниченной более или менее четкими временными рамками, и к культуре «узкоспециализированной», чьи созидание и адекватное восприятие основываются на совершенном владении ее специфическим языком, что предполагает обладание соответствующими профессиональными навыками и знаниями (это, естественно, в значительной степени сужает круг достойных ее потребителей), и к творчеству выдающегося художника или мыслителя, и к ним самим как историческим персонажам, и даже к отдельному артефакту. Во всех перечисленных случаях совсем не обязательно имеются в виду какие-то экзотические и/или эзотерические формы и способы выражения национального, исторического, индивидуального и любого иного духа, но «всего лишь» вполне, на первый взгляд, ординарные явления культуры (если, правда, последние могут быть ординарными в принципе).

В поисках объяснения сказанного нетрудно предположить (не абсолютизируя, тем не менее, данную мысль), что *чем более конкретны и специфичны* (хотя бы в каком-то смысле) *те разнообразные средства, которые способствовали возникновению некоего артефакта, относящегося к той или иной национальной, исторической, профессиональной либо любой иной «оригинальной» культуре, тем менее легким оказывается проникновение в его тайны* как для любознательного, но инокультурального

À propos: **употребление термина**
«культуральный» («инокультуральный») вместо «культурный» обусловлено отнюдь не желанием автора пооригинальничать (как, вероятно, может показаться на первый взгляд), но, наоборот, его стремлением к соблюдению большей теоретической строгости. Дело в том, что в русском языке прилагательное «культурный» давно и прочно обрело оценочный характер. И

¹ Alain. *Propos sur l'Esthétique*. Paris: Presses Universitaires de France, 1949. P. 24; Ален. Суждения. М.: Республика, 2000. С. 341. (Во всех статьях переводчика ссылки на эти книги будут даваться непосредственно в тексте посредством указания номера страницы в *круглых и квадратных скобках* соответственно.) Замечание переводчика: как представляется, суждение, используемое в качестве второго эпиграфа, справедливо отнюдь не только в отношении книг старинных.

хотя оно все еще сохраняет свое словарное значение в качестве указания на близость атрибутируемого объекта «к просветительной, интеллектуальной деятельности», возможное толкование его как «находящийся на высоком уровне культуры, соответствующий ему»² (в связи с этим было бы логично задать вопрос: а находящийся на невысоком уровне культуры – но ведь все-таки культуры! – может быть назван культурным или нет?) придает этому термину нежелательную, а порой и не допустимую, на мой взгляд, в теоретических трудах двусмысленность. Особенно отчетливо оценочный аспект данного слова становится ощутим при употреблении термина «некультурный» в смысле «необразованный», «невоспитанный», «с дурными манерами» и т. п., иначе говоря, в отношении объектов, процессов, ситуаций, рассматриваемых, в соответствии с актуальной и наиболее приемлемой для данного общества системой ценностей, в качестве «плохих», «некачественных».

Кроме того, образование прилагательных от иноязычных вокабул при помощи разноязычных суффиксов «аль + н» (точнее, образование их от иноязычных прилагательных же) в контексте русского словообразования выглядит гораздо более логичным, чем с использованием одного только «н», как это имеет место в слове «культурный». Для подтверждения высказанного предположения можно привести множество примеров: регион – региональный, стадий – стадийный, радиус – радиальный, спектр – спектральный и т. п. Таким образом, термин «культуральный», на мой взгляд, имеет гораздо больше оснований быть воспринятым в строгом соответствии с канонами русского языка образованным, полностью нейтральным, т. е. не несущим никакой оценочной нагрузки, и указывающим на принадлежность определяемого им объекта к культуре во всем ее объеме (а не только «к просветительной, интеллектуальной деятельности», что является очевидным и необоснованно жестким ограничением, причины включения которого в цитируемое выше определение мне не совсем понятны или даже совсем не понятны).

«чужеземца», так и для не менее любознательного «иновременника». Тем не менее, например, достаточно искушенному и эрудированному любителю музыки, на мой взгляд, вполне по силам обнаружить достоинства (если таковые действительно имеются) в неизвестном ему и относящемся к незнакомому для него художественному направлению сочинении,

À propos: несколько опережая события, замечу, что «герой» настоящей работы, Алэн, в свое время рассуждавший в том числе и на эту тему – его позиция была вкратце изложена во включенном в настоящее издание эссе «Школа суждения», – безусловно, не согласился бы с выдвинутым мной тезисом.

а человеку, сведущему в архитектуре, – постичь если и не глубинную суть, то хотя бы общий эстетический смысл непривычного для его глаза сооружения и при этом даже испытать восхищение силой (если таковая действительно обнаружится) инокультурального гения – его создателя, и т. д. и т. п.

Однако в тех случаях, когда «строительным материалом» явления культуры оказываются слова, да еще «чужие» и тем более измененные – переведенные, а значит, в какой-то степени обязательно подмененные, – то тут-то и выясняется, что суть, смысл, отдельные (и нередко

² Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. М., 1999. С. 314.

очень важные) нюансы состоящего из них текста все-таки ускользают от, образно говоря, *иноязычных* (и, следовательно, инокультуральных) *уха и мысли* и что сам исходный текст зачастую сопротивляется, порою активно, недостаточно деликатному обращению с ним и истолкованию, осуществленному, вполне возможно, с помощью неверно выбранного интерпретатором ключа (а это вводит в заблуждение также и тех, кто ему «поверил»), или же, в худшем случае, вообще не поддается адекватной трактовке. Проецируя сказанное на русскую культуру, очень трудно допустить, чтобы иностранцу, даже не только всего лишь пользующемуся переводом, но и очень хорошо владеющему русским языком, было бы легко в полной мере воспринять все своеобразие, смысловую и художественную насыщенность какого-нибудь скромного стиха А. Тарковского или сочной прозы А. Платонова, оценить по достоинству игру словами (или игру в слова) В. Хлебникова либо Д. Хармса, признать за философские сочинения труды Н. Федорова или «Уединенное» и «Опавшие листья» В. Розанова... Подлинная культура всегда – к сожалению или к счастью, кто знает? – *эзотерична* (именно это обстоятельство коренным образом отличает ее от культуры потребительской, которая безусловно и принципиально *экзотерична*). Но в то же время она *универсальна*, что, собственно говоря, и позволяет даже упоминавшимся выше «иноземцам» и «иновременникам» с удовольствием и пользой для себя совершать увлекательные путешествия по ее садам, лесам, дебрям.

Кроме того, между разными культурами, как и между разными людьми, довольно часто устанавливаются особые отношения: порой отстраненно холодные, реже – особо близкие. Так, богатейшая и своеобразнейшая, но по многим своим характеристикам достаточно от нас далекая (что совершенно естественно, если принять во внимание хотя бы пространства, разделяющие наши страны, а также особенности исторического развития последних) французская культура, пожалуй, несколько неожиданно и, «на мой вкус», излишне решительно вошла в жизнь послепетровской России, в кратчайшие сроки став в высшей степени востребованной в российском обществе и на протяжении десятилетий оказывая огромное влияние не только на переживавшие в то время сложный период трансформации и русское искусство (которому постепенно все в большей степени и со все возрастающей уверенностью удавалось приобщаться к художественным и, шире, культуральным стилям, распространенным и, тем более, господствовавшим в Западной Европе), и государственное управление, и гуманитарные и естественные науки, но и на повседневный быт россиян – прежде всего, естественно, принадлежавших к высшим социальным слоям, усилиями которых инокультуральные контакты в первую очередь устанавливались, развивались и поддерживались. С другой стороны, результатом того же влияния стала совершенно нелепая ситуация, когда приехавший в Россию «французик из Бордо» «ни звука русского, ни русского лица / Не встретил; будто бы в отечестве, с друзьями; / Своя провинция»³. И она, эта ситуация, объяснялась, кроме всего прочего, тем, что несколько поколений имперского *grand monde*⁴ подобно пушкинской Татьяне выражались «с трудом на языке своем родном», предпочитая ему французский, а многие представители высшего света – современники Отечественной войны 1812 г., по свидетельству Л. Толстого, принялись учить русский (что, кстати, получалось далеко не всегда) лишь из патриотических соображений, демонстрируя тем самым свое неприятие языка страны-агрессора. Отсюда можно сделать вывод, что упомянутому выше культуральному результату, если рассматривать его с учетом особенностей развития русской культуры XVIII-XIX вв. в целом, вряд ли можно было бы дать однозначную оценку.

К началу XX в. или даже раньше безудержная галломания пошла на убыль. Но при этом Россия сумела сохранить подлинную любовь к французской культуре: мы и сейчас много о ней знаем – и знаем хорошо, многое понимаем – и, можно с достаточной уверенностью утверждать, понимаем неплохо, многое ценим – и оцениваем по достоинству. И все же...

³ Грибоедов А. С. Горе от ума. Действие III, явл. 22.

⁴ *grand monde* – высший свет, фр.

À propos: в отличие, например, от А. Блока, пожалуй, излишне самоуверенно считавшего, что «Нам внятно все – и острый галльский смысл, / И сумрачный германский гений...»⁵, я все-таки не собираюсь преувеличивать степень и глубину постижения в России иноязычной культуры. Отсюда это «и все же...».

Постепенно сужая объект своих рассуждений и переходя к вопросу о французской словесности, я осмелюсь напомнить, что за этим термином «лежит» практически необозримая территория, «густо заселенная» авторами самых разнообразных текстов, своими талантами заслужившими право на «постоянное проживание» на ней и, как собственным семейством, этими текстами окруженными, – выдающимися *мэтрами письма* (или *буквы*, что по-французски одно и то же), как их можно было бы назвать по аналогии с употребляемым в подобных случаях в русской культуре выражением «мастер слова». Обозревая эту территорию – хотелось бы подчеркнуть данное обстоятельство, – мы можем заметить, что, к примеру, французским писателям, широко известным (во всяком случае, до сравнительно недавнего времени) в России, *À propos: мои оговорки такого рода крайне существенны, поскольку я сам, как минимум в силу своего возраста, отношусь к той культуре, которая в современной России все в большей степени становится всего лишь предметом воспоминаний и музейным экспонатом. Говорю об этом не без грусти, но в то же время с понимаем определенной закономерности всего происходящего.*

далеко не всегда принадлежало (и, тем более, принадлежит сейчас) столь же почетное место в иерархии литературных «авторитетов», составленной самими французами, и наоборот.

À propos: в связи со сказанным достаточно указать на крайне нелестно характеризруемых Аленом⁶, но зато любимых (во всяком случае, до сравнительно недавнего времени) в России Г. де Мопассана и Г. Флобера или же, с другой стороны, напомнить о том, как, например, в Предисловии к «Песням западных славян» (1831 либо 1832 г.) А. Пушкин, выделив творчество П. Мериме (безусловно, отнюдь не первого литератора Франции своей эпохи, при этом крайне нелюбимого Аленом), писал о «глубоком и жалком упадке нынешней французской литературы», хотя именно в эти годы создавали свои произведения Р. Шатобриан, А. де Виньи, Ш. Нодье, А. Ламартин, Стендаль (кстати, уже упоминавшийся Флобер не считал Стендаля великим писателем), Ш.О. Сент-Бёв, Жорж Санд, В. Гюго, О. де Бальзак (один из лучших романов которого, «Блеск и нищета куртизанок», четверть века спустя другой русский гений – Л. Толстой в высшей степени снисходительно назвал одной «из тех милых книг, которых развелось такая пропасть в последнее время», выразив в добавок свое истинное отношение к подобным «милым книгам» искренним удивлением по поводу того, что они «пользуются особенной популярностью почему-то между нашею молодежью»⁷) и др.

То же самое можно отнести и к философам, являвшимся еще и писателями (ведь французские философы «стремились философию сделать литературой и, с другой стороны, литературу – философией»⁸), и даже прославленными, но далеко не всегда получавшим признание в интеллектуальных кругах российского общества. И в качестве одного из ярких примеров,

⁵ Блок А. Скифы.

⁶ Об отношении Алена к Мопассану и Флоберу см., например: Алэн. Читатель; О вкусе.

⁷ Толстой Л. Н. Севастополь в мае // Толстой Л. Н. Собр. соч.: В 22 т. Т. 2. М., 1979. С. 132.

⁸ Цит. по: Моруа А. Литературные портреты. М., 1971. С. 441.

подтверждающих сказанное, можно указать на протагониста настоящей работы – *Эмиля-Огюста Шартье*.

Является ли описанная ситуация опровержением истины, что «нет пророка в своем отечестве»? Думаю, лишь в незначительной степени. Скорее, напрашивается вывод о том, что в конечном итоге и прежде всего сам народ – усилиями, естественно, своих наиболее проницательных умов и наиболее чутких сердец – способен по достоинству оценить собственных художественных (и не только!) гениев. Хотя и отнюдь не всегда. Но ведь в культуре вообще вряд ли могут быть оправданы поиски законов, правил и однозначных ответов на самые, казалось бы, простые вопросы, и к тому же не исключены ошибки при формулировании как первых, так и вторых. Кроме того, о вкусах, как видно, могут спорить не только отдельные индивиды, но и целые народы. Во всяком случае, в фактах несовпадения культуральных, культурологических оценок мы также имеем возможность увидеть своеобразное проявление эзотеричности любой культуры, в частности культуры национальной.

Действительно, кого из крупнейших представителей французской словесности – в самом широком толковании этого понятия – первой половины XX столетия вспомнили бы представители русской культуры, одновременно являющиеся почитателями культуры французской? Я уверен, что прежде всего были бы названы имена Пруста, Аполлинера, Франса, Роллана, Мартена дю Гара, Сартра, Камю, Мориака, может быть, Бергсона (все-таки лауреат Нобелевской премии по литературе!), Маритена, Марсея... Конечно, могли бы прозвучать и некоторые другие, но с достаточной уверенностью можно предположить, что в любом случае они лишь в малой степени совпали бы с теми, что первыми пришли на ум французскому интеллектуалу – Андре Моруа, авторитет которого в нашей стране (во всяком случае, до недавнего времени был) неоспоримо высок и который сказал: «В мире немало нас – тех, кто считает, что Ален был и остается одним из величайших людей нашего времени. Что касается меня, я охотно скажу “величайшим” и из современников его соглашусь поставить рядом с ним только Валери, Пруста и Клоделя»⁹. Вот так!

Взявшись писать работу об Алене, я ни в коей мере не собираюсь ставить под сомнение приведенное суждение автора «Писем незнакомке», не отрицая при этом его возможной субъективности и «культуральной предвзятости».

⁹ Моруа А. Ален // Ален. Суждения. М., 2000. С. 362.

Биография философа, дополненная произвольными размышлениями Ad Marginem

1

Итак, речь у нас пойдет об *Эмиле-Огюсте Шартье* (Émile Auguste Chartier)¹⁰ который появился на свет 3 марта 1868 г. в семье ветеринара, жившего в нормандском городке Мортань-о-Перш.

Ален – это всего лишь очередной, но ставший постоянным псевдоним, взятый в 1903 г. преподавателем философии, к тому времени достаточно опытным в области журналистики, в память о своем знаменитом предке, прожившем недолгую, но яркую жизнь, – *Алене Шартье* (ок. 1392 – ок. 1430), выдающемся писателе и поэте эпохи Возрождения (кстати, оказавшем значительное влияние на современную ему французскую литературу), авторитетном, несмотря на свой молодой возраст, придворном в царствования Карла VI и Карла VII, дипломате и королевском посланнике. Этим псевдонимом подписывались газетные миниатюры, первоначально появлявшиеся еженедельно на страницах газет «La Dépêche de Lorient», «La Dépêche de Rouen et de Normandie», «La Démocratie rouennaise» под рубриками «Propos de Dimanche» («Воскресные рассуждения») и «Propos de Lundi» («Понедельничные рассуждения»), а затем превратившиеся в хроники, публиковавшиеся уже ежедневно. Краткие эссе, названные их сочинителем *propos*, **À propos**: французское существительное «le propos» заслуживает особого «культурологического внимания», проявлять которое в полной мере в данной работе было бы, однако, неуместно.

Тем не менее следует пояснить, что оно не только иноязычное для русского языка, но и, если можно так сказать, крайне иносемантичное или, шире и проще, инокультуральное по отношению к русскоязычному строю мысли и речи. Достаточно перечислить хотя бы основные его словарные значения – «речь, разговор; злословие, толки, пересуды; повод, мотив, цель, намерение; решение; предмет, тема»¹¹, чтобы с этим согласиться. Совершенно очевидно, что найти в русском языке одно-единственное слово, которое хотя бы в какой-то мере передавало семантику рассматриваемого французского, не представляется возможным. Этим и объясняется тот факт, что на русский его переводили и как «суждение», и как «слово», и как «речь», и как «рассуждение». Я предпочитаю последний вариант перевода, поскольку, на мой взгляд, именно он обнаруживает, напрямую или опосредованно, семантическую близость к большей части приведенных выше значений. Кроме того, как мне кажется, в поисках эквивалента любой вокабулы не следует ограничиваться соответствующим ей «официальным» словарным списком. Дело в том, что сами аленовские тексты, без всякого сомнения, носят характер рассуждений по случаю или, можно сказать, кстати (что по-французски обозначается устойчивым выражением с использованием

¹⁰ Следует оговориться, что автор ни в коей мере не претендует на осуществление анализа, тем более разностороннего, собственно философских взглядов Алена, обращаясь к ним лишь в поисках точки отсчета при составлении не более чем относительно подробной характеристики той стороны его творчества, в рамках которой он выступает в качестве эссеиста-культуролога, и понимая при этом, что разделить их, эти различные стороны творческой личности, можно только в теоретическом рассуждении.

¹¹ См.: Гак В. Г., Ганишина К. А. Новый французско-русский словарь. М., 2006. С. 648.

того же слова – «à propos»), но отнюдь не без особого для них повода. В то же время в рамках разговора об Алене я позволяю себе – по мере надобности и в целях сокращения количества комментариев, в которых может возникнуть необходимость, – вводить французское слово «propos» непосредственно в русский текст.

стали вскоре необыкновенно популярными и даже знаменитыми: «Читатели были в восхищении. Многие читали “Суждения” Алена раньше, чем новости»¹².

По сути дела, их автор стал зачинателем нового, но отнюдь не авангардистского литературного жанра (что – отдадим этому должное! – в XX столетии, да еще «на фоне» модернистского бума, сделать было непросто). Действительно, многочисленные его опусы, к этому жанру относящиеся, во многом отличаются и от столь ценимых французской культурой максим и остроумных афоризмов, изрекаемых мудрецами, и от написанных «на тему» эссе – типа тех, что составили «Опыты» Монтеня, и от стихотворений в прозе, необыкновенно популярных среди французских писателей и поэтов разных эпох; однако в чем-то они все же походят и на те, и на другие, и на третьи. Самое же главное – *propos* стали не только визитной карточкой авторского стиля, но и неочевидным и ненавязчивым способом выражения личности, растянувшегося на десятилетия, самого автора (именно по этой причине народившийся жанр был, как видно, обречен умереть вместе с его создателем). В дальнейшем и сам Э. Шартье и (после его кончины) почитатели его писательского таланта неоднократно объединяли избранные *propos* в самостоятельные сборники (выходившие в свет, например, под названиями «Сто одно рассуждение Алена», «Рассуждения о...» и т. п.) и даже многотомники, скомпонованные по хронологическому либо тематическому принципу.

À propos: своими эссе Ален обращался ко всем, вне зависимости от образования, возраста, профессии и т. п., а точнее просто к своему читателю, которого надеялся найти и в чем, надо признать, преуспел. При этом эссеист никогда не пытался с ним заигрывать. Это подтверждается хотя бы тем, что он сплошь и рядом включал в свои тексты и с трудом поддающиеся интерпретации образы, и сложные метафоры («Метафора... слаба, если она всех устраивает» [265], – заметил как-то сам писатель; поэтому понимание метафор Алена, попытки их толкования – это, на мой взгляд, важный путь к пониманию самой сути его творчества), и не слишком очевидные, требующие для понимания солидной гуманитарной подготовки аллюзии, и т. п.

Тем самым автор *propos* серьезно рисковал: ведь, с одной стороны, кажущаяся простота и «приниженность» избираемых им для своих эссе тем, посвященных культуре повседневности (что даже позволяет их автора в какой-то степени считать предшественником основоположников школы «Анналов», с их идеей истории повседневности), а также в основном используемых в них речевых оборотов были способны обмануть неискушенного читателя, не готового к углубленному анализу попавшего в его руки многослойного текста. И это могло привести к неадекватному прочтению последнего. С другой же стороны, «с помощью» той же обманчивой простоты было нетрудно отпугнуть читателей более требовательных, привыкших с недоверием относиться к «несерьезным» литературным жанрам и способных усомниться в возможности обнаружения в сочинениях писателя, пусть даже и выглядящих достаточно «солидно», чего-то заслуживающего их избирательного интереса, тем более что эссеистская манера чаще всего была

¹² Моруа А. Ален. С. 367.

присуца и его монографическим работам. Но «риск» оправдал себя: книги Алена читают до сих пор (конечно, не все – и слава богу!), а многие читают их и внимательно и с удовольствием.

В начале своей журналистской деятельности и на протяжении нескольких лет Э. Шартье подписывался другими псевдонимами – *Quart d'œil*, Филибер (Philibert)

À propos: довольно трудно объяснить, не будучи посвященным в тайны личной жизни молодого философа, почему он в качестве одного из первых своих псевдонимов выбрал именно это французское выражение – *quart d'œil*, которое на парижском аргю обозначает «полицейский комиссар», а буквально переводится как «четверть глаза». С великой осторожностью можно предположить, что тем самым автор пытался представить себя человеком (поскольку именно таким и должен быть профессиональный сыщик – «какой-нибудь» комиссар Мегре, родившийся, правда, в воображении Ж. Сименона, гораздо позже, лишь в 1929 г., причем сразу в пожилом возрасте, или же «появившийся на свет» в 1916 г. Эркюль Пуаро), чьего даже беглого взгляда достаточно для выборочной и точной фиксации важных, но не сразу бросающихся в глаза обывателя с «замыленным» зрением деталей того, что происходит вокруг него, в повседневной жизни. (Кстати, в том же аргю встречается выражение *quart d'auteur*, имеющее значение «литературный раб», т. е. фактический автор конкретного текста, который выполняет свою работу за мизерную плату, но чье имя остается неизвестным. Не исключено, что это значение также «просвечивает» в аленовском псевдониме – см., например, ниже разделы «Действовать и созидать», «Делать, а затем размышлять» и др.)

В отношении тайного смысла другого псевдонима – Филибер – я, к сожалению, не могу высказать даже самых приблизительных предположений. Если же попытаться привлечь исторические факты, то оказывается, что во французской истории наиболее известны несколько персонажей, носивших это имя. Среди них: святой Филибер – монах VII в., два герцога Савойских, прозванные соответственно Охотником и Прекрасным (XV – самое начало XVI в.), и Филибер Делорм – выдающийся архитектор эпохи Ренессанса (XVI в.). Однако продвинуться в своих попытках прояснить ситуацию с псевдонимом чуть далее приведенной констатации мне не удалось.

и хронологически самым первым (с 1893 г.) – Критон (Criton).

À propos: именно этот псевдоним, под которым еще только набиравшийся профессионального опыта журналист писал в «*Revue de métaphysique et de morale*» («Обозрение метафизики и морали»), привлек мое внимание в особой степени. Конечно же, выбран он был не случайно и, вероятнее всего, отсылал читателей к одному из ранних диалогов Платона, названному тем же именем – «Критон». Исходя из этого я осмеливаюсь предположить, что семантика избранного философом псевдонима не так проста, как может показаться на первый взгляд, поскольку в данном диалоге главная роль отведена не тому великому мудрецу Сократу, который, как мы знаем, увлеченно занимался излюбленной майевтикой, но доживающему по приговору суда свои последние дни и часы пожилому человеку, который уже «...полностью смирился с отечественными законами и стремится во что бы то ни стало им повиноваться, даже если их применяют

неправильно»¹³. (В качестве небольшого уточнения стоит обратить внимание на то, что Сократ никогда и не был борцом, допустим, с политическим режимом или с социальной несправедливостью.) Если моя догадка верна, то отмеченное обстоятельство может рассматриваться как в высшей степени симптоматичное: ведь именно подобной – по отношению к политике, государству, к правовым нормам – позиции Э. Шартье придерживался практически всю свою жизнь (к данному вопросу мне придется вернуться позже). И пусть со временем он отказался от использования этого «говорящего» псевдонима, но принципам, сформулированным им для себя еще в молодости и определявшим его социально-политические воззрения, о которых будет сказано в дальнейшем, на протяжении всей последующей жизни он практически никогда не изменял.

Выбор специальности стал непростым делом для юноши, поскольку, обладая разносторонними талантами, «...при желании он мог бы стать физиком, поэтом, музыкантом или писателем»¹⁴. И действительно, окончив лицей в Алансоне, Эмиль сперва намеревался продолжить свою учебу в Политехнической школе, однако после некоторых колебаний все-таки выбрал гуманитарное (литературное) поприще, став экстерном лицея Ванв (Vanves), в настоящее время носящего имя лицея Мишле (Michelet) и находящегося в предместье Парижа. Здесь-то и состоялась оказавшаяся судьбоносной для молодого человека встреча с преподавателем философии *Жюлем Ланьо* (Jules Lagneau).

Окидывая ретроспективным взглядом жизнь Э. Шартье, приходится признать, что она не была, по большому счету, слишком богата экстраординарными событиями личностного плана, за исключением его пребывания уже не в очень молодом возрасте на фронте. Поэтому не удивительно, что именно военный опыт, армейские наблюдения и впечатления стали второй из двух важнейших «биографических доминант» – хотя и разномасштабных в их, так сказать, абсолютном измерении, но практически равнозначных по сыгранной ими роли в формировании личности незаурядного мыслителя. Хронологически же первая доминанта была обусловлена интеллектуальным восхищением юноши педагогическим даром и философской убедительностью «...великого Ланьо – по правде говоря, единственного человека, которого я признавал божеством»¹⁵, – как через много лет после окончания Эколь Нормаль написал философ, ставший к тому времени маститым ученым. Не удивительно, что благодарный ученик посвятил своему учителю книгу «Воспоминания о Жюле Ланьо» («Souvenirs concernant Jules Lagneau», 1925).

À propos: на основании приведенного факта воздания должного и максимально достижимого памяти своего учителя представляется возможным сделать некий обобщающий вывод: о скромном и, как видно, действительно незаурядном, хотя и крайне редко публиковавшемся преподавателе и знатоке философии мы бы не знали ничего, не появившись у него такой воспитанник, как Э. Шартье. Но ведь и наши знания, например, о Сократе вряд ли были бы столь богатыми, если бы о нем не писали его ученики. Исходя из сказанного остается лишь пожалеть о том, что многие замечательные учителя, которым не посчастливилось иметь незаурядных учеников, способных подобно Платону, Ксенофону, Алену зафиксировать на бумаге свои воспоминания о них, так и остались не известными истории и нам.

¹³ Лосев А. Ф. Критон // Платон. Собр. соч.: В 4 т. Т. 1. М., 1990. С. 697.

¹⁴ Моруа А. Литературные портреты. С. 434.

¹⁵ Цит. по: Моруа А. Литературные портреты. С. 434.

Попутно замечу, что от своего кумира будущий философ получил «в наследство» две научные темы, которые заняли исключительное по значимости место в кругу его философских размышлений – темы восприятия и страстей. Кроме того, он взял себе за правило никогда не догматизировать ни один из тех принципов, которым с большей или меньшей верностью и последовательностью следовал, тем самым выказывая себя достойным учеником Жюля Ланьо, любившего говорить о существовании лишь одной абсолютной истины, состоящей в том, что абсолютной истины нет вообще.

Под влиянием его лекций, а также непосредственного общения с ним в 1888 г. Э. Шартье поступил – уже для получения философского образования – в знаменитую парижскую Эколь Нормаль, десятилетиями с достоинством выполнявшую роль *alma mater* не одного поколения французской интеллигенции. Здесь, среди прочих, он слушал лекции известного литературного критика Ф. Брюнетьера (1849–1906), члена Французской академии, приверженца католицизма и монархиста, знатока и поклонника классицизма, последовательного противника натурализма в литературе и импрессионизма. Его художественные взгляды, вероятнее всего, в какой-то степени сказались на эстетических воззрениях еще совсем молодого человека, однако в решении религиозных и политических вопросов будущий дрейфусар, атеист, демократ и поборник прав человека занимал принципиально иные позиции.

Уже в те времена еще совсем молодой Этьен больше всего желал «...одного – остаться свободным и уметь точно мыслить»¹⁶. Именно это простое и одновременно необыкновенно сложное для воплощения в реальность желание на всю жизнь предопределило как сферу реализации им своих способностей и духовных потребностей, так и конкретные формы этой реализации. Он посвятил себя профессионально осуществляемому, последовательному, продуманному и углубленному поиску сущностных смыслов, изучению и анализу первоисточков специфически европейской *любви к мудрости*, первопричин социальных и антропологических проблем. При этом особый интерес исследователя вызывал *человек*, с его страстями, желаниями и мыслями, победами и поражениями, откровениями и заблуждениями, верными решениями и ошибками (о последних будет сказано особо). И постепенно начинающий философ вырабатывал собственный подход к осмыслению вечных или, как минимум, имеющих многотысячелетнюю историю вопросов.

После защиты диссертации Э. Шартье начал работать (с 1892 г.) преподавателем философии, сохранив верность этой профессии на протяжении всей своей трудовой деятельности. Показательно, что всю жизнь он служил отнюдь не в крупных и знаменитых университетах, а в учебных заведениях среднего звена и, так сказать, средней руки: сперва – в достаточно скромных провинциальных коллежах Понтиви, Лориана, Руана и лишь позже – Парижа (в том числе и в родном для себя коллеже Мишле). Наверное, не случайно Ален говорил про себя: «Я родился рядовым» [199].

À propos: очевидно, что такую самооценку не следует воспринимать чересчур буквально: ведь именно из подобных «рядовых» (парадоксальным образом их, в отличие от множества «маршалов» и «генералов», всегда и везде крайне мало) никогда не может получиться готовых на все за чины и награды идеологов-пропагандистов, которые с радостью состоят на службе у любых разновидностей власти имущих (сказанное относится к самым разным странам, временам, обществам, сферам обнаружения и приложения человеком своих способностей и т. п.).

¹⁶ Моруа А. Литературные портреты. С. 434.

Учитывая уже сказанное, представляется вполне логичным, что одной из важнейших целей многогранной деятельности Э. Шартье стало воспитание «рядовых» гражданского общества, которые были бы способны, опираясь на гуманистические идеалы, осуществлять контроль за теми, в чьих руках сосредоточивается (слишком часто неоправданно или даже незаконно) огромный властный потенциал. Результативность его педагогической деятельности подтверждается не только именами некоторых из его многочисленных учеников, обретших впоследствии широкую известность, и зачастую не только во Франции, – писателей А. Моруа, Ж. Прево, Ж. Грака, литературоведа А. Массиса, киносценаристов П. Боста и М. Тоэска, журналиста С. де Саси, и др., но и пронесенным ими через всю жизнь восторженно-благодарным отношением к своему учителю

À propos: один из них писал: «Лично я понял Платона, Аристотеля, Канта, Декарта, Гегеля, Огюста Конта только благодаря Алену. Осмелюсь сказать больше: благодаря Алену я понял жизнь и людей»¹⁷.

и, конечно, к творческими успехами, во многом, по их же словам, достигнутыми ими благодаря урокам мэтра и общению с ним. Здесь же нужно было бы отметить и то воспитательное воздействие, которое, без сомнения, оказывали и оказывают его столь разнообразные сочинения на многочисленных их читателей. Однако детали и подробности этого процесса в его конкретных проявлениях, к сожалению, остаются для нас «за кадром».

Знаменитое дело (1894–1906) капитана А. Дрейфуса, разделившее на рубеже веков всю Францию на два лагеря, затянуло в политику и Шартье, человека высокой гражданственности, но, по существу, аполитичного, хотя и проявлявшего неподдельный интерес и к этой важнейшей стороне общественной жизни – правда, практически исключительно научный, т. е. преломленный сквозь призму философии, социологии, политологии и даже не существовавшей еще в то время культурологии. В своих размышлениях на связанные с политикой темы – они составляют содержание таких книг, как «Рассуждения о власти. Основы одной радикальной доктрины» (*Propos sur les pouvoirs. Éléments d'une doctrine radicale*, 1916–1925), «Гражданин против властей» («*Le citoyen contre les pouvoirs*», 1926),

«Политические рассуждения» («*Propos de politique*», 1934) – мыслитель проявлял себя как лояльный (недаром, как мы помним, он выбрал в качестве псевдонима имя *Критон*), но, по его же словам, достаточно радикально настроенный гражданин – «гражданин вопреки властям»¹⁸, как заметил А. Моруа. Сам Алэн, будучи уже немолодым человеком (1922) и автором целого ряда книг, достаточно очевидную внутреннюю противоречивость собственной гражданской позиции выразил так: «Вот и остаюсь я студентом-отличником с неблагонадежным образом мыслей»[200].

À propos: в подобной двусмысленности можно увидеть своеобразное проявление верности традиционным европейским ценностям, основанным на выдающихся достижениях культуры Нового времени, на важнейших принципах демократии и демократического устройства государства, на представлениях о значении цивилизованности как в общественных, так и в межличностных отношениях, о соблюдении законов, об уважении достоинства человека и социальных прав гражданина и т. п. Напомню, что ко времени рождения и начала духовного становления будущего философа подобного рода принципы и нормы, сформировавшиеся еще в эпоху Просвещения, в значительной мере сохраняли и свою чисто человеческую привлекательность и общественную значимость, чего уже в полной мере

¹⁷ Моруа А. Надежды и воспоминания. М., 1983. С. 312.

¹⁸ Моруа А. Алэн. С. 362.

нельзя сказать об эпохе постмодернизма (застать которую, к счастью для самого Алена, философу не довелось) и, тем более, о нашем времени – времени борьбы между компромиссами и конфронтациями, гласностью и цинизмом, техническим блеском и духовной нищетой.

2

Несмотря ни на имевшееся у Э. Шартье официальное освобождение от военной службы, ни на разделяемые им пацифистские убеждения – он, например, писал в своих эссе: «никакой удар не верен»¹⁹), «если вы стремитесь убедить, то отбросьте шпагу»¹⁹, и т. п., – в 1914 г. немолодой уже преподаватель философии пошел добровольцем на фронт, считая, что для успешной борьбы против войны нужно самому испытать ее тяготы, а также в немалой степени, вероятнее всего, следуя тем самым примеру своего учителя, Жюль Ланьо, добровольцем принявшего участие во франко-прусской войне 1870–1871 гг. При этом Шартье отказался от полагавшегося ему по закону звания офицера и за время службы в действующих войсках (демобилизирован он был в 1917 г., так и не сумев восстановиться после серьезного ранения в ногу, полученного годом ранее и сделавшего его хромым на всю оставшуюся жизнь) прошел непростой путь от рядового артиллериста до капрала.

À propos: важный комментарий к сказанному в качестве дополнения к характеристике философа: на фронте «...он научился ненавидеть войну не столько из-за ее опасности (он был отважен и по природе, и по убеждению), сколько из-за рабства, в которое она ввергает граждан, считавших себя свободными»²⁰. К сожалению, именно этой «благородной ненависти» так не хватало и не хватает множеству людей, живших и живущих на Земле.

Показательно, что, даже находясь в действующей армии, ученый не прекращал творческой деятельности и во время кратких передышек продолжал писать. В результате вскоре после его демобилизации свет увидели такие работы, как «Восемьдесят одна глава о разуме и страстях» («Quatre-vingt-un chapitres sur l'esprit et les passions», 1917; позже она будет включена в состав книги под названием «Основания философии» – «Éléments de philosophie», 1941), «Торговцы сном» («Marchands de sommeil», 1919, которая, также значительно позже, превратится во введение к книге «Стражи духа» – «Vigiles de l'esprit», 1942), а также «Система изящных искусств» («Système des Beaux-Arts», 1920). В дальнейшем, на основе непосредственных впечатлений, накопившихся у незаурядного наблюдателя за годы армейской службы, им были написаны книги «Марс, или Приговор войне» («Mars ou la guerre jugée», 1921) и «Военные воспоминания» («Souvenirs de guerre», 1937).

Из великого множества тем, затронутых исследователем в многочисленных монографиях, статьях и *propos*, заметное предпочтение им было отдано темам, имеющим непосредственное отношение к искусству,

À propos: «Ни один мыслитель, за исключением Платона, не был связан так прочно, как Ален, с кругом человеческих дел и искусств», – писал А. Моруа, добавляя к сказанному: «Он любил разъяснять мысль на примере тела»²¹ – обстоятельство, которое лишь подчеркивает его особые связи (о них еще будет сказано позже) именно с античной культурой, с античным искусством.

¹⁹ Ален. Конт, IX. Две власти (настоящее издание).

²⁰ Моруа А. Литературные портреты. С. 446.

²¹ Моруа А. Ален. С. 368.

и в частности к литературе, тем более что со временем он был признан незаурядным – в том числе и благодаря своим *propos* – и авторитетным литературным критиком и писателем: так, помимо вполне «естественных» для создателя нового литературного жанра «Рассуждений о литературе» («*Propos de littérature*»), философ опубликовал книги, посвященные любимым писателям – Стендалю («*Stendhal*», 1935), О. Бальзаку («Читая Бальзака» – «*En lisant Balzac*», 1935; «Вместе с Бальзаком» – «*Avec Balzac*», 1937), Ч. Диккенсу («Читая Диккенса» – «*En lisant Dickens*», 1945).

À propos: в связи с этим интересно отметить, что при своей безусловной и достаточно широкой начитанности он постоянно возвращался к особо любимым им литераторам: «...в чтении своем Ален всю жизнь ограничивал себя немногими произведениями, которые без конца перечитывал и знал досконально. Его спутниками были несколько великих умов; остальные для него не существовали»²², а «его библиотека состояла главным образом из сочинений нескольких выдающихся авторов: Гомера, Горация, Тацита, Сен-Симона, Реца, Руссо, Наполеона (его беседы с Лас Казом), Стендаля, Бальзака, Жорж Санд, Виктора Гюго и, разумеется, философов: Платона, Аристотеля, Декарта, Спинозы, Канта, Гегеля, Огюста Конта. На протяжении своей жизни он прибавил к ним Ромена Роллана, Валери, Клоделя, Пруста, а также Киплинга. Выбор предельно строгий, но уж эти великие произведения он знал превосходно»²³.

Конечно, по сути Моруа прав, но при этом, как мне кажется, излишне категоричен, поскольку его учитель неоднократно демонстрировал знание сочинений не только своих любимых авторов, но и тех, которые и эстетически и мировоззренчески были довольно далеки от него. Более того, он признавался, например, в том, что читал произведения даже столь заурядных сочинителей, как Октав Фёйе, Поль де Кок, Жорж Онэ, Жюль Леметр (см. настоящее издание, эссе «Читатель»).

Логичным следствием тематического разнообразия в творчестве, как и страха перед любыми ограничениями, налагаемыми на процесс мышления, явилось отрицательное отношение философа к умозрительным системам (по его мнению, «все системы – гробницы ума»[350]) как таковым, в любом случае в той или иной степени сковывающим свободу мысли их же изобретателей (чему, кстати, в истории философии действительно можно найти множество примеров). Именно поэтому задачу, стоявшую перед ним как философом, Ален видел не в разработке очередной метафизической конструкции либо системы категорий (чем, надо признать, увлекались многие его современники), но, как уже отмечалось, в поиске истоков разнообразных проблем и процессов, а шире – истоков самой философской мысли, и в посвященных этим поискам размышлениях в духе Сократа. То же самое можно сказать и о его социологических воззрениях, в рамках которых «...он не пытается строить глобальные социально-политические системы, и его мысль развивается главным образом в “домашней” сфере, в области повседневной житейской морали, и, даже рассуждая об общесоциальных проблемах, он берет за исходную точку простые и прямые отношения между людьми – между членами семьи, между учителем и учеником»²⁴. Иными словами, можно сказать, что *центральной темой аленовского творчества стала культура повседневности*. А в своих историко-философских трудах главное внимание исследователь уделял осмыслению идей интеллектуально близких ему Платона, Декарта, Спинозы, Канта, Конта и некоторых других выдающихся представителей европейской

²² Там же. С. 364.

²³ Моруа А. Надежды и воспоминания. С. 222.

²⁴ Зенкин С. Н. Учитель здравого смысла // Ален. Суждения. С. 4.

философии, о чем свидетельствуют такие книги, как «Рассуждения о философах» («Propos sur les philosophes»), «Идеи» («Idées»), включенный в настоящее издание «Краткий курс для слепых» и др. В то же время следует отметить, что в книге «Беседы на берегу моря» («Entretiens au bord de la mer», 1931) Ален все-таки решился предложить своим читателям систематизированное изложение собственных философских взглядов, анализ которых, безусловно, требует специального внимания и проведения особого исследования.

Мыслитель, уверенный во всесии и преимущественно цивилизаторской (т. е. соответствующей «французскому», идущему от маркиза де Мирабо, истолкованию термина «la civilisation» как *процесса, облагораживающего и общество и человека*) функции разума; *интеллектуал*, убежденный и верный почитатель эпохи Просвещения и, можно сказать, любимый ее «внук»; *рационалист*, сторонник Декарта, с огромным недоверием относящийся к разговорам о роли инстинкта и бессознательного в деятельности *homo sapiens* (а посему – последовательный противник фрейдизма), Ален придерживался радикальных взглядов («...такие радикалы, как я»[346], – говаривал он) при обсуждении самых разных вопросов, в равной степени касающихся практически всех сторон общественной жизни, религии, церкви, нравственности, воспитания, искусства, различных наук, философии и др. Формированию его мировоззрения, безусловно, способствовало то влияние, которое оказали на него выдающиеся философы Античности, и в первую очередь Сократ (подобно которому он, например, был убежден в неразрывной связи знания и нравственности), а также уже упоминавшиеся западноевропейские мыслители первого ряда и, конечно, стоявший особняком *несравненный Жюль Ланьо*.

À propos: при этом – напомним – гражданский, гражданственный радикализм философа носил, как это ни прозвучит парадоксально, не просто умеренный, но можно даже сказать смиренный характер и в известном смысле мог бы быть выражен оксюморонной формулой «сопротивляться, оставаясь послушным», что, на мой взгляд, в первую очередь было обусловлено его радикальным пацифизмом и глубинной аполитичностью. Однако, будучи вполне уместной в годы, предшествовавшие Первой мировой войне, в условиях возрастания угрозы со стороны входившего в силу в Европе 20–30-х годов фашизма идея противления злу без применения силы выглядела, безусловно, как явно устаревшее и в актуальной ситуации «не стреляющее» оружие.

Хотя Ален, казалось бы, занимал достаточно активную позицию в противостоянии распространению коричневой чумы – например, вместе с физиком Полем Ланжевенем (Paul Langevin) и антропологом Полем Риве (Paul Rivet) в 30-е годы он учредил *Комитет проявляющих бдительность интеллектуалов-антифашистов* (le Comité de vigilance des intellectuels antifascistes), – это не помешало ему уже во время войны вступить в открыто коллаборационистскую *Лигу французской мысли* (la Ligue de la Pensée Française) и в те же годы публиковаться в «решительно очистившемся от евреев и коммунистов» «Новом французском журнале» (La Nouvelle Revue française), что стало достаточным основанием для включения его имени в довольно длинный список французских интеллектуалов, в той или иной форме сотрудничавших с фашистским режимом.

À propos: как ни удивительно, но приведенные факты практически не сказались на общественном отношении к Алену после освобождения Франции от нацизма: практически во всех биографических справках он характеризуется исключительно как принципиальный пацифист и антифашист. В связи с этим, а также справедливости ради можно было бы задать провокационный вопрос: нельзя ли политику, проводимую в 30-е годы по отношению к гитлеровской Германии ведущими державами

Запада и СССР (чьи действия фактически представляли собой откровенное сотрудничество с последней), в большей или меньшей степени рассматривать в качестве «межгосударственного коллаборационизма», что в конечном итоге способствовало превращению Третьего рейха в смертельную угрозу всему цивилизованному миру? Чисто же «французский коллаборационизм» (если таковой существовал) имел в основном те же истоки, что и коллаборационизм, так сказать, общезападный.

Кроме того, следует принимать во внимание, что, во-первых, ситуацию в оккупированной Франции нельзя полностью отождествлять с ситуацией, сложившейся, например, на оккупированных территориях Советского Союза, Польши или Чехословакии, что прежде всего было обусловлено отношением фашистов к славянам; во-вторых, коллаборационизм Алена можно интерпретировать как превращенную или даже извращенную форму проповедовавшегося им пацифизма, в-третьих, публикуясь при оккупационном режиме, Ален все-таки не писал панегириков фашистским вождям, а, оставаясь, по большому счету, аполитичным (что, правда, в описываемое время обрело вид достаточно определенной политической позиции), продолжал заниматься чистой наукой – делом всей своей жизни (этим, возможно, и объясняется отсутствие критических выступлений и замечаний в его адрес после окончания войны); наконец, прикованный к инвалидной коляске старик вряд ли вообще мог рассматриваться в качестве сколько-нибудь заметной, а главное – деятельной фигуры среди многочисленных французских коллаборационистов, в числе которых, не говоря уже о профашистски настроенных антисемитах типа М. де Вламinka или Л.-Ф. Селина, оказались столь видные деятели французской культуры, как А. Камю, Ж.-П. Сартр, М. Карне, П. Клодель, М. Шевалье, Ж. Кокто, Р. Деснос, П. Форт, С. Лифарь, Ж. Ромен и др., которые в той или иной форме сотрудничали с фашистским режимом, т. е. публиковали свои произведения, ставили их или выступали с ними на сцене, в том числе, естественно, и перед оккупантами. Тем не менее приведенные факты, конечно же, не украшают биографии Э. Шартье. И хотя в рамках «типичного» современного ее изложения они чаще всего деликатно опускаются, из песни слов не выкинешь...

С другой стороны, стоит задуматься и о том, что было бы явной несправедливостью упрекать, например, М. Булгакова, Ю. Трифонова, М. Бахтина, Ю. Лотмана, В. Некрасова, А. Галича, А. Лосева, А. Шнитке, отца и сына Тарковских, Д. Самойлова, М. Ростроповича, а также многих других художников и немногих мыслителей и ученых, которые прожили долгие годы в СССР, в том, что они, по возможности публикуя и исполняя здесь свои произведения, тем самым в какой-то мере сотрудничали с преступным советским государством, в том числе и в жуткие сталинские времена: ведь другого выхода, иных возможностей для обнародования своего творчества у них просто не было. В то же время апологетами соответствующего человеконенавистнического режима, в отличие от бесконечного множества в полном смысле советских художников и «мыслителей», они все-таки не стали.

Выйдя в 1933 г. на пенсию – нужно отметить, что последний урок мэтра прошел в торжественной обстановке и в присутствии почетных гостей, – постепенно лишавшийся возможности передвигаться как из-за жестокого ревматизма, который приносил ему тяжкие физические страдания, так и из-за поразившего его в 1937 г. инсульта, окончательно приковавшего

его к инвалидному креслу, Ален последние годы своей жизни провел в уединении – в своем доме в местечке Везинэ.

*À propos: здесь уместно заметить, что еще задолго до своей болезни Ален довольно часто касался проблемы одиночества, не выказывая при этом по отношению к последней никакой симпатии, которая, казалось бы, естественным образом пристала философу. Так, в 1907 г. он писал, что, «оставаясь в одиночестве, нельзя быть самим собой». Наоборот, «... чем меньше человек замыкается в своих рамках, тем больше становится самим собой и тем острее чувствует себя живым»[23]. Таким образом, в разрешении этой проблемы автор *propos* принципиально отличался от множества выдающихся деятелей культуры (в первую очередь писателей и философов, именно в одиночестве видевших как спасение от угнетавшего их воздействия социальной среды, так и оптимальную для них жизненную ситуацию, благоприятствующую их творчеству). Через пару лет свою позицию по этому вопросу, несколько смягчив ее, он разъяснял таким образом: «Как бы странно это ни казалось, но чем больше человек проводит времени в одиночестве, тем меньше думает о себе, особенно если у него яркое воображение, способное объять весь мир»[67]. Что ж, это замечание можно рассматривать как некий компромисс, позволяющий, сохраняя неприязненное отношение к одиночеству, признать некоторые достоинства последнего.*

Все сказанное позволяет говорить о французском философе как о ярко выраженном экстраверте, свою основную, так сказать профессионально-жизненную, задачу видевшем в оказании посильной – духовной, эмоциональной, интеллектуальной – помощи окружающим путем предоставления в их распоряжение того, что в постоянных наблюдениях за жизнью удавалось обнаружить, обдумать, прочувствовать и описать ему самому. К счастью, в старости Алену, как видно, так и не довелось испытать одиночество. Во-первых, его регулярно навещали друзья-сверстники и бывшие ученики, со временем также превратившиеся в его друзей. Во-вторых, начиная с 1900 г. и вплоть до своей смерти (1941 г.) рядом с ним находилась Мари-Моник Морр-Ламбелен (Marie-Monique Morre-Lambelin), бывшая его доверенным лицом и секретарем, постоянно оказывавшим ему огромную помощь в повседневной работе и в подготовке к публикации его трудов.

В-третьих, здесь же уместно рассказать и о явно неординарной истории любви философа, который еще в 1907 г. сблизился с приемной дочерью своих друзей Габриель Ландорми (Gabrielle Landormy), бывшей на 20 лет младше него. Правда, сложившиеся между ними и сохранявшиеся на протяжении более двух десятилетий отношения не помешали ей в 1929 г. переехать в США, где она стала директрисой салона высокой моды. Однако очень показательно, что в письмах, посланных ей Аленом за 15 лет ее пребывания в Америке (на протяжении этого времени Габриель неоднократно посещала Францию), содержится 70 посвященных ей стихотворений (что, кстати, с трудом согласуется с образом рационалиста, каковым в основном предстает перед нами французский мыслитель). Как бы то ни было, но в 1944 г. она окончательно вернулась на родину, а в 1945 г. вышла замуж за своего давнего и к тому времени очень больного друга.

10 мая 1951 г. из рук министра культуры (кстати, своего бывшего ученика) Ален принял вручавшуюся тогда впервые Большую национальную премию по словесности – первую и последнюю официальную награду, полученную им за всю свою жизнь. А 2 июня 1951 г. философа не стало. Похоронен он на кладбище Пер-Лашез в Париже.

* * *

Более чем за 40 лет до смерти Ален писал: «...чем полнокровнее жизнь человека, тем меньше он боится ее потерять»[40]. Мне, естественно, трудно гадать, о чем философ мог размышлять в свои последние недели и дни перед смертью, но я полагаю, что он возвращался к этой мысли, и очень надеюсь, что у него оказалось достаточно оснований, чтобы убедиться в собственной правоте.

3

Завершить некое подобие краткого биографического очерка я хотел бы небольшим, но представляющимся мне важным замечанием, спровоцированным репликой, уже много лет назад брошенной в высшей степени уважаемым мной российским исследователем в адрес «героя» данного очерка. Сожалея о том, что скудость русскоязычных материалов о нем не позволяет мне отослать интересующихся к иным оценкам личности этого мыслителя, а иноязычные ее характеристики, так сказать, нерелевантны по причине их принадлежности к иной культуре (что в данном случае очень существенно), я хотел бы попытаться своим кратким комментарием восстановить научную, да и просто элементарную справедливость. А дело в том, что, как, в частности, утверждал С. Зенкин, давая общую характеристику Алену, «...и по происхождению, и по складу ума он был *мелкобуржуазным* мыслителем» и «именно таким “классовым сознанием” сформированы его этика и политика»²⁵.

На мой взгляд, это высказывание существенным образом искажает образ Алена, сложившийся, как минимум, в современной французской культуре, а как максимум – в культуре мировой. Кроме того, как мне казалось, подобного рода атрибутирование (ведь совершенно очевидно, что определение «мелкобуржуазный» в контексте русской культуры звучит как некое клеймо или даже оскорбление – наподобие определений «мещанин» или «иностранный агент») осталось (во всяком случае, должно было остаться) в сравнительно недалеком советском прошлом, поскольку мыслитель либо интересен, оригинален, содержателен, масштабен, глубок и т. п., либо он не мыслитель; «плохие» мыслители не остаются в истории философии; социальное происхождение философа, в отличие от его работ, чаще всего мало о чем может сказать его читателя и почитателям; философ – это не должность, не звание, не профессия, не ремесло (на чем настаивал и Ален); наконец, сама философия – это не абстрактная любовь к рассуждениям по некоему поводу, смысл и сущность которого недоступны постижению профанов, это отнюдь не отточенное умение высказывать наукообразные мысли по любым пустякам и т. д., и т. п.

В целом все отвергаемые мной характеристики – не более чем ряд обывательских представлений об испокон веков казавшейся их обладателям странной фигуре более или менее одинокого (все-таки! – вопреки упоминавшемуся отношению к одиночеству самого Алена) мыслителя. Термин «философ», используемый к качеству характеристики прежде всего указывает (в случае ее адекватности, конечно) на особое состояние духа характеризуемого, на неординарность его интеллекта, мировоззрения, мироощущения и, вероятно, даже подсознания, на специфическое по своим особенностям и механизмам функционирование его менталитета. То, что Ален был сыном ветеринара, то, что он всю жизнь довольствовался скромной ролью преподавателя коллежа, то, что он был еще и оригинальным журналистом, писавшим преимущественно о «мелочах» «текущего» момента, то, что он рассуждал о повседневных радостях, счастье, страстях и прочих столь волнующих простого человека вопросах, то, что тремя глав-

²⁵ Там же.

ными вещами в мире были для него «всего лишь» «труд как жизненная потребность, покой в домах, пища на столе»[344], – все это ни в коем случае не позволяет принижать, а точнее – сужать, общекультуральную значимость его личности и литературного наследия, поскольку самым существенным в последнем обычно является не то, *о чем* размышлял оставивший нам его, а то, *как* он это делал и *что* писал по поводу предмета своих размышлений.

Во-вторых, все богатейшее и разностороннее, в высшей степени проблемное и содержательное творчество французского философа говорит – причем для «имеющего уши» достаточно отчетливо – совершенно об ином. Ален был необыкновенно плодовит, и тематика его многочисленных трудов поражает своим разнообразием. Но, вспоминая о *propos* своего учителя, А. Моруа писал, что хотя их автор «интересуется всем на свете и рассуждает как о дрессировке лошадей, так и о любовных страстях, политических хитростях, искусстве художника, войне, Боге... каждое рассуждение подкрепляется у него несколькими центральными идеями, составляющими как бы остов его мысли, – идеями, к которым он постоянно возвращается, чтобы получше отшлифовать их». Иначе говоря, «в этом длинном ряду “суждений” у Алена есть излюбленные темы»²⁶, авторская интерпретация которых, как я собираюсь показать в дальнейшем, и должна быть положена в основу характеристики мировоззренческих взглядов их интерпретатора. И, забегая вперед, можно утверждать, что, как показывает даже достаточно беглый анализ последних, это был, если можно так сказать, философ чистой воды, философ-традиционалист, сохранявший верность принципам, сформировавшимся еще в Античности, т. е. на самой заре философии как специфической формы сознания человечества.

Лишь немногие мыслители вообще и XX в. в частности наряду с самыми что ни на есть философскими обращались и к темам «низменным», которые вызывали перманентный интерес у Алена. Вероятно, поэтому в ретроспективе истории философии, тем более на фоне своих современников – французских экзистенциалистов и персоналистов (кстати, и на тех и на других, как и на историков школы «Анналов», о чем уже говорилось, его творчество, вероятнее всего, оказало определенное влияние), структуралистов и пришедших в науку уже после его кончины постмодернистов, со столь искусно сформулированной (а точнее – оформленной) и столь блестяще разработанной проблематикой своих трудов – он действительно может показаться всего лишь «рядовым». Однако, если попытаться повнимательнее вчитаться и глубже осмыслить написанное им, я уверен, будет нетрудно прийти к выводу, что в его богатом наследии обнаруживаются и уникальность, и масштабность, и оригинальность, и глубина, и тонкость, и прозорливость, никак не согласующиеся с унижающей, на мой взгляд, этого мыслителя характеристикой «мелкобуржуазный».

И в-третьих, процитированный выше отечественный исследователь явно противоречит самому себе. Так, он пишет: «Ален кое в чем предвосхитил современное “экологическое” направление в культуре...». Но скажите, пожалуйста, под силу ли что-либо подобное «мелкобуржуазному» философу? Ответ очевиден, хотя данное возражение отнюдь не самое значительное. А поэтому – еще один аргумент: «...такой тип личности – человека независимого и самостоятельно мыслящего – он утверждал в своем творчестве, отстаивал в борьбе против любых видов властного подавления: государственного бюрократизма, милитаристского угара, религиозного фанатизма и фашистского террора»²⁷. Сказано хорошо и точно. Но самое интересное заключается в том, что приведенная только что характеристика принадлежит уже цитируемому автору, который несколькими строчками раньше назвал таким образом характеризуемого мыслителя мелкобуржуазным. Вопрос: могут ли столь разные суждения относиться к одному человеку?

²⁶ Моруа А. Ален. С. 368.

²⁷ Зенкин С. Н. Учитель здравого смысла. С. 4.

И последнее соображение на ту же тему: если высокоинтеллектуальный постмодернизм, чуть ли не во всех сферах, которых коснулась блестящая и пытливая мысль его адептов, оставил после себя выжженную землю и разрушенные идеалы, то «приземленный» Ален всегда стремился к тому, чтобы жизнь – полнокровная и достойная мыслящего и чувствующего человека, обладающего чувством самоуважения гражданина, тонко воспринимающего настроения окружающих собеседника и т. п. – продолжалась и после него. Однако в сравнительно отдаленной перспективе этот философ, как видно (если все-таки принимать во внимание состоявшийся после его кончины приход к «философской власти» упоминавшихся постмодернистов), потерпел поражение, в связи с чем можно предположить, что Ален принадлежит к числу *последних философов-гуманистов*, чья эпоха в контексте истории мировой культуры после их ухода из жизни окончательно превратилась в историко-философское прошлое.

À propos: в качестве дополнительной характеристики сути происшедшего я мог бы привести миниатюру одного из самых скромных российских поэтов, который написал через четверть века после смерти героя настоящего очерка (естественно, ни в коей мере не имея в виду его, что в данном случае еще более показательно):

*«Вот и все. Смежили очи гении.
И когда померкли небеса,
Словно в опустевшем помещении
Стали слышны наши голоса.*

*Тянем, тянем, слово залежалое,
Говорим и вяло и темно.
Как нас чествуют и как нас жалуют!
Нет у их. И все разрешено»²⁸.*

²⁸ Самойлов Д. Избранные произведения: В 2 т. Т. 1. М., 1989. С. 212.

Ален – Автор *Propos*

Мыслить и контролировать мысль

Приступая к рассмотрению теоретических воззрений Алена, *À propos*: *хочу подчеркнуть, что предлагаемый вниманию читателя анализ осуществлен исключительно на основе текстов самого Алена и Алену посвященных, которые были уже опубликованы в России или включены в настоящий сборник.*

я отдаю себе отчет, что не только сравнительно небольшая, но и достаточно развернутая статья вряд ли могла бы вместить их подробный анализ, краткий вариант которого мне очень хотелось бы начать (в первую очередь с целью соблюдения «философских формальностей») с отношения французского философа как к собственной профессиональной деятельности (о чем, правда, уже было немного сказано ранее), так и к фундаментальным в ее рамках вопросам. Однако привлекаемые мною тексты, к сожалению, содержат не слишком богатый для такого рода размышлений и выводов материал, поскольку ни в коей мере не претендуют ни на философскую строгость и основательность, ни на последовательное осмысление онтологических и/или гносеологических проблем, ни на выявление специфики профессионального труда философа, ни на анализ личности этого культурального персонажа и т. п. Например, упоминая о последнем вскользь, французский эссеист довольствуется предельно простым суждением, делая к тому же акцент на его неформальном характере: «В обиходе мы привыкли называть философами тех, кто в любой ситуации умеет выбрать наиболее верный тон и самые нужные слова, точно попадающие в цель»[18], – пишет он. Тем не менее на основе приведенной характеристики (которая, на мой взгляд, все-таки не может претендовать на содержательное резюме сложившегося в общественном мнении представления об обсуждаемом персонаже), а также учитывая другие высказывания Алена, можно сделать вывод, что, по его мнению, философ – это не кабинетный ученый, не далекий от реальности «специалист по созданию умозрительных конструкций», но необыкновенно точно и чутко ориентирующийся в бесконечно и непрерывно меняющемся калейдоскопе повседневных событий наблюдатель, обладающий огромным жизненным опытом и способный оперативно принимать адекватные решения, в первую очередь руководствуясь *здравым смыслом* – критерием, традиционно высоко ценимым типичными представителями французской культуры, французского общества, *À propos*: *раз уж зашел разговор о культуральных типах, то*

попутно и в качестве не предполагающего оценки сопоставления можно заметить, что менталитету столь же типичного россиянина, скорее всего, соответствовал бы прямо противоположный жизненный принцип, очень просто «сформулированный» цитировавшимся чуть выше Давидом Самойловым, который, в качестве представителя именно этого типа, «советовал» своим читателям

*«Не опускаться до того,
Чтобы руководил рассудок!»²⁹.*

²⁹ Там же. С. 499.

вплоть до не только «прославившегося» чуть ли не абсолютизацией этого критерия (но при этом занимающего достаточно скромное место и в национальной и, тем более, в мировой философской табели о рангах) В. Кузена, но и великого Р. Декарта. Иными словами, это совсем не обязательно выдающийся интеллект (поскольку «...можно быть человеком большого ума и поступать ему вопреки десятки раз на дню»[347], что для поклоняющегося здравому смыслу француза, тем более для французского философа-традиционалиста и еще в большей степени – для более или менее явного картезианца, совершенно недопустимо), а, с одной стороны, рационально мыслящий теоретик, с другой же – искушенный в «плаваньях по житейскому морю» практик (из чего, возможно, и возникло желание «обозвать» выразителя подобных взглядов мелкобуржуазным философом; см. выше), собирательным и в то же время модельным образом которого мог бы, вероятно, служить Монтень.

С вопросом о здравом смысле теснейшим образом связаны рассуждения о мышлении, чему Ален уделит довольно много места на страницах своих книг. При этом сам мыслительный процесс в трактовке Алена выглядит довольно своеобразно: так, он пишет, что «мы всегда начинаем, как мне кажется, с нелепых мыслей, которые выправляем, изживаем и забываем – это называется мыслить; мыслить – значит управлять своими мыслями по двойной модели – неподатливого мира и здравого смысла»[162]. Отсюда вытекает, что мыслителю не нужно бояться «нелепостей», лезущих ему в голову и обусловленных, вероятнее всего, тем, что на первых порах определяющую роль в процессе мышления играет «неподатливый мир», их порождающий. «Думать – значит забывать о себе... – пишет картезианец (или *неокартезианец*), как видно, на время “вынесший за скобки” главный принцип картезианства “мысль, следовательно, существую”. – Размышлять – это значит отправляться в путешествие, пусть и ненадолго»[68], а «...путешествовать – это сделать шаг или два, остановиться и оглядеть то, что только что видел, но под новым углом зрения»[11]. Что ж, путешествия действительно совершаются ради обретения и накопления новых впечатлений, нередко становящихся исходным материалом для дальнейших размышлений и активизирующих благодаря собственной событийной и смысловой насыщенности наше воображение. И все же последнее, если вспомнить хотя бы того же Декарта,

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.